

РОМАН ГРЕХОВ

ИСПОВЕДЬ МОСКОВСКОГО ДЕПУТАТА



18+

Роман Грехов

Исповедь московского депутата

«Автор»

2026

Грехов Р.

Исповедь московского депутата / Р. Грехов — «Автор», 2026

Он знает цену депутатскому креслу, чужой жене и молчанию свидетеля. Собственную цену предпочитает не вспоминать. Павел Клёнов выбрался из бедности и научился брать всё: деньги под видом благотворительности, верность в обмен на услуги, удовольствие за закрытыми дверями. Днём он защищает семейные ценности. Ночью платит за исполнение желаний, которые уничтожили бы его карьеру. Криминальные покровители. Эскорт. Знаменитости за одним столом с людьми, которых боится весь город. Здесь чужую постель превращают в компромат, дружбу — в долговую расписку, а предательство оплачивают заранее. Потом горит культурный центр. Семь человек погибают. И каждому влиятельному участнику этой истории срочно нужен виновный. Клёнов решает заговорить первым. Рассказать о сделках, любовницах, покровителях. Выдать всех, кто считал его своим. Но в этой исповеди есть признание, которое он вычёркивает снова и снова.

© Грехов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Часть 1. Двор	6
1. Чужой ключ	6
2. Очередь	8
3. Маленький свидетель	10
4. Белый дым	12
5. Человек с папкой	14
Часть 2. Цена входа	16
6. Первый конверт	16
7. Комната на двоих	18
8. Рынок	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Роман Грехов

Исповедь московского депутата

От автора

Это художественное произведение. Все персонажи, организации и события вымышлены; реальные географические названия служат фоном.

Герои не являются зашифрованными портретами известных людей. История рассказана от первого лица. Рассказчик не всегда надёжен.

Часть 1. Двор

1. Чужой ключ

За двое суток до ареста я купил хлеб. Сам, в маленьком магазине возле Преображенской площади. Взял нарезной, хотя дома его никто не ел, и ещё зачем-то пакет. Продавщица спросила, нужен ли чек. Я ответил: нужен. Теперь я понимаю, что уже тогда репетировал жизнь, в которой за мной оставались доказательства.

Хлеб лежал на пассажирском сиденье. Водителя я отпустил. Подземный гараж моего дома пах мокрой резиной, и от этого запаха я вдруг вспомнил отцовские ботинки. После смены отец оставлял их на газетах возле двери. Мать ругалась, что в прихожей темно, а он отвечал: ничего, мы знаем, куда идти. В нашей семье знали, куда идти, даже когда идти было некуда.

Меня зовут Павел Сергеевич Клёнов. До прошлой осени мои имя и отчество печатали на календарях, пакетах для продуктовых наборов и листовках с обещанием сохранить сквер. Сквер не сохранили. Календари, думаю, ещё висят у кого-нибудь над холодильником. Лицо у меня на них спокойное, слегка усталое, с выражением человека, который слышит чужую беду. Фотограф добивался этого выражения сорок минут. Настоящую беду я научился не слышать гораздо раньше.

В этой тетради не будет просьбы понять меня. Хотя всё, что я напишу после этой фразы, наверняка окажется именно такой просьбой. Адвокат велел придерживаться обстоятельств, которые можно подтвердить. Но у некоторых обстоятельств нет свидетелей. Например, у удовольствия, которое я испытал, когда впервые увидел, как взрослый человек боится моей подписи.

Мне было одиннадцать, когда отец принёс чужой ключ. Московская осень стояла тёплая; на Сиреневом бульваре листья липли к подошвам, а из открытых окон пахло жареным луком. Ключ был тяжёлый, с длинной бородкой. Отец положил его на кухонный стол между хлебницей и лекарствами бабушки.

— Завтра съездим, — сказал он.

Мать не спросила куда. Она села, и я понял: они уже говорили об этом без меня. Мы жили втроём и с бабушкой в двух комнатах. Одну называли спальней, другую — залом, будто название добавляло ей метров. Моя раскладушка раскрывалась поперёк прохода, и ночью все перешагивали через мои ноги.

На следующий день мы поехали смотреть квартиру в доме, где отец участвовал в ремонте. В подъезде ещё не поставили таблички. Окна выходили на пустырь; там стоял ржавый автобус, и я сразу решил, что в нём можно устроить штаб. Отец открыл дверь чужим ключом. В квартире было светло, голоса отдавались от стен. Мать провела ладонью по подоконнику и вытерла пыль о пальто.

— А люди? — спросила она.

— Какие люди?

— Которым она была.

Он попросил её не начинать при ребёнке. Это была удобная фраза: ею взрослые прекращали разговоры, из которых ребёнок мог узнать что-нибудь важное. Я прошёл в маленькую комнату, прижал ладонь к батарее и представил собственную кровать. Не раскладушку. Кровать, которую утром не надо прятать.

Позднее я узнал, что квартиру обещали семье слесаря. У него болела жена, и были две дочери. Отец не украл у них ордер и не подделал документы. Он просто принёс начальнику

то, чего тот ждал, а слесарь не принёс. В нашем доме это называли договориться. Слово было домашнее, почти ласковое. Договориться можно было с сантехником, с соседкой, с судьбой.

Мы в ту квартиру так и не переехали. Начальника перевели, решение пересмотрели. Чужой ключ ещё несколько месяцев лежал в ящике с отвёртками. Но случилось главное: я успел полюбить комнату, предназначенную другому ребёнку. И испытал обиду, когда её у меня отняли.

Однажды в декабре мать нашла меня у раскрытого ящика. Я держал ключ и пробовал царапать им ноготь.

— Не бери, — сказала она.

— Почему?

Мать посмотрела на дверь ванной, за которой отец брился.

— Потому что не наше.

Она произнесла это негромко, без воспитательной интонации. Я тогда решил, что она слабая. Сегодня, после всех моих кабинетов, охраны, льготных въездов и специальных лифтов, мне трудно вспомнить другой случай, когда кто-нибудь в нашей семье так точно определил границу.

Наутро после покупки хлеба позвонила Вера. Я увидел её имя и почувствовал облегчение: дочь всё-таки звонит. В последние недели она отвечала мне только короткими сообщениями. Я успел сказать «доченька», прежде чем она заговорила.

— Ты прислал мне текст?

— Какой текст?

— Про пожар. Про то, что ты не знал.

Это прислал мой помощник. Без согласования со мной, хотел я сказать. Но помощник никогда не делал ничего, чего я в действительности не хотел.

— Вера, там сложная история.

— Нет. Там люди.

Она положила трубку. Я сидел на кухне, на той самой кухне, за которую заплатил сумму, немыслимую для моего отца. На столе лежал вчерашний батон. В квартире было восемь комнат, и впервые я не мог придумать ни одной причины перейти из этой в другую.

2. Очередь

Мать работала в регистратуре районной поликлиники. Я иногда заходил к ней после школы. За стеклом её окошка лежали карточки, связанные резинками, а рядом стояла чашка с трещиной, которую мама поворачивала от посетителей. Очередь начиналась у гардероба и изгибалась возле плаката о здоровом образе жизни. Люди в ней кашляли, ругались и берегли свои места так, будто за окошком выдавали ещё несколько лет.

Мне разрешали сидеть в подсобке. Там хранились старые журналы и коробки с бахилами. Я делал уроки за столом, где одна ножка была короче остальных. Через тонкую стенку слышал голос матери: фамилия, год рождения, участок. Она повторяла одни и те же слова сотни раз, но вечером могла вспомнить женщину с перевязанной рукой или мужчину, который ошибся этажом и заплакал от усталости.

В ноябре пришёл человек в кожаном пальто. Он не встал в очередь. Постучал ногтем по стеклу, и мать сразу подняла голову. Я видел это из дверного проёма: как её лицо стало другим, внимательным и неприятно вежливым. Человек передал ей бумажку. Она вышла, провела его в коридор, куда остальных не пускали, а потом вернулась к окошку.

— А он почему без очереди? — спросил я по дороге домой.

— Ему нужно было.

— А другим не нужно?

Мать остановилась у перехода. За её плечом сыпался мокрый снег, который ещё не решался стать снегом.

— Паш, не всё надо спрашивать у меня.

Мне стало стыдно не за вопрос, а за то, что я заметил её бессилие. Дети часто принимают родительский стыд за свою вину. Я решил: когда вырасту, мы никогда не будем ждать. Ни врачей, ни квартир, ни чужого разрешения поднять голову. В моей будущей жизни для матери должны были открываться все двери. Людей по другую сторону этих дверей я пока не представлял.

Первую собственную очередь я создал во дворе. У меня появилась электронная игра, доставшаяся от двоюродного брата. Экран был поцарапан, но волк всё ещё ловил яйца. Я разрешал играть за наклейки. Юра Басов, мой сосед и лучший друг, говорил, что это жлобство. Однако очередь стояла. Я завёл тетрадку, записывал, кто сколько должен, и обнаружил, что тетрадка даёт больше удовольствия, чем игра.

Юра был странным ребёнком. Он мог разобрать магнитофон, чтобы узнать, почему тот шипит, и потом неделю слушал шипение без корпуса. В квартире Басовых пахло канифолью. Его отец чинил технику знакомым и часто не брал денег. Мой отец считал это болезнью.

— Человек свой труд не уважает, — говорил он.

Юрин отец отвечал, что соседям тоже бывает трудно. Они спорили на лестнице, не повышая голоса, и поэтому спор казался мне особенно серьёзным. Позднее оба проиграли по-разному. Один остался без денег. Другой начал считать, что любая потеря денег означает унижение.

Когда игру украли, я обвинил мальчишку из соседнего подъезда. Он был тихий, с заячьей губой, и не умел быстро отвечать. У меня не было доказательств. Было чувство, что с него удобно спросить. Я прижал его к стене, а трое ребят стояли вокруг. Юра подошёл последним.

— Отпусти, — сказал он.

— Он взял.

— Откуда знаешь?

Я не мог сказать: потому что мне нужен виновный. Поэтому повторил, что знаю. Юра убрал мою руку с чужого воротника. Мы подрались. У него пошла кровь из носа. Игра нашлась вечером под диваном у меня дома: мать убрала её, когда приходили гости.

Я несколько дней не выходил во двор. Потом принёс Юре две жвачки. Извиняться не стал. Он взял одну, вторую вернул.

— Ему тоже дай.

Мы нашли мальчика возле песочницы. Он смотрел, как младшая сестра лепит башни из грязного снега. Я протянул жвачку и сказал, что ошибся. Он не взял. Тогда я разозлился: ведь я уже сделал достаточно. Так мне казалось.

Через много лет на приёме ко мне пришла женщина, потерявшая квартиру. Она отказалась от продуктового набора, который секретарь поставила рядом с её сумкой. Я испытал ту же злость. Человек не захотел принять назначенную мной цену его обиды. Я назвал её неблагодарной, когда дверь закрылась.

Мать однажды услышала это слово. Она зашла передать мне пирог и задержалась у секретаря. Вечером спросила, зачем голодному человеку благодарить за кусок его же хлеба. Я ответил, что она не понимает моей работы.

Мне хотелось бы написать: с этого началось наше отчуждение. Но это была бы красивая неправда. Мы и дальше ездили на дачу, отмечали праздники, покупали лекарства. Отчуждение не обязательно портит фотографии. Иногда оно просто становится правилом, о чём не говорят за столом.

3. Маленький свидетель

В школе я быстро понял, что учительнице важнее тишина, чем справедливость. Если разбили окно, ей нужен был виновный к концу урока. Истина, которая требовала перемены, разговора с завучем и звонка родителям, считалась дополнительной неприятностью.

Окно разбил я. Не специально: бросил мел в одноклассника, промахнулся, мел попал в стекло с уже существовавшей трещиной. Стекло осыпалось на подоконник с таким тихим звоном, будто кто-то пересыпал ложечки. Учительница отвернулась от доски. Я посмотрел на Славку Ерохина. Этого оказалось достаточно.

Славка был старше нас на год, плохо учился и носил куртку, которую не снимал даже в жару. Его мать приходила в школу с сумкой уборщицы, и от этого учителя разговаривали с ней особенно медленно. Славка отрицал, что бросал. Я сказал: видел. Юра сидел через ряд и не мог знать, что произошло. Но он посмотрел на меня так, что я понял: этого моего «видел» он не забудет.

Вечером отец узнал о случившемся от знакомой. Я признался ему, ожидая наказания. Он молча налил чай. Потом спросил, записали ли моё имя в объяснении.

— Нет.

— Тогда не лезь.

— Но он не виноват.

Отец устало посмотрел на меня. Он в тот месяц работал по субботам, и кожа на его пальцах потрескалась до крови.

— Тебе ещё учиться. На тебя уже хорошо смотрят. Не порть.

Это прозвучало не как урок подлости, а как совет беречь зимнюю куртку. Отец не желал Славке зла. Просто Славка находился за пределами круга, который отец считал своей ответственностью. В этом круге были мать, бабушка и я. Позднее я расширил его до нескольких сотен людей и назвал командой. За краем круга всегда кто-нибудь стоял.

Славку заставили оплатить стекло. Его мать принесла деньги в конверте. Я видел, как она долго разглаживала его ладонью перед учительским столом. На конверте была нарисована синяя птица. Нелепая подробность, но именно она возвращалась ко мне спустя десятилетия, когда я уже не помнил лица этой женщины.

Юра узнал правду от меня самого. Мне хотелось поделиться успехом: всё закончилось, никто не догадался. Мы сидели в автобусе, ехали на ВДНХ. Он слушал, глядя в окно.

— Ты теперь всегда так будешь? — спросил он.

— Как?

— Смотреть на другого, когда надо на себя.

Я обозвал его учителем. На ВДНХ мы всё-таки пошли вместе. Ели мороженое, рассматривали модели кораблей. Дружба в пятнадцать лет умеет переживать вещи, которые позднее называют несовместимостью ценностей. Мы не формулировали различия. Мы просто делали вид, что они ещё ничего не решают.

В день рождения отец подарил мне часы. Дешёвые, с металлическим браслетом. Я спросил, откуда деньги. Он сказал: премия. Ночью услышал спор на кухне. Мать говорила, что надо вернуть. Отец отвечал, что все берут, а он что, хуже. Мне захотелось вмешаться и защитить его. Часы приятно холодили запястье. Я не хотел быть на стороне человека, который предлагает их снять.

Так выглядела моя первая политическая позиция. Никакой идеологии. Просто вещь на руке.

Бабушка умерла весной. После похорон освободилась комната, и я наконец получил собственную кровать. Взрослые говорили, что жизнь продолжается. Я расставлял на полке книги

и чувствовал облегчение, от которого было мерзко. Неделю мне снилось, что бабушка стоит в дверях и просит вернуть раскладушку.

Однажды я рассказал об этом матери. Она долго молчала, потом сказала:

— Радоваться комнате можно. Только не перепутай, чему именно радуешься.

Я не понял. Или понял, но предпочёл забыть. Большая часть моей жизни состояла из таких удобных непониманий. У человека есть талант не замечать смысл фразы, если этот смысл мешает ему жить.

На допросе следователь спросит, когда я впервые узнал, что здание у воды опасно. В протокол попадёт дата письма. Потом появится ещё одна дата, более ранняя. Мы будем спорить о часах, подписях, прочтённых сообщениях. Но если отвечать не для протокола, я узнал об этом задолго до самого здания. В тот день, когда посмотрел на Славку, а взрослые приняли мой взгляд за доказательство.

Разумеется, это метафора. Адвокат просил меня избегать метафор. Он говорит, что они создают лишние признания. Мне кажется, лишних у меня как раз нет.

4. Белый дым

В октябре девяносто третьего мне было пятнадцать. Я не понимал, что происходит в стране, зато отлично понимал, что на улице можно увидеть нечто такое, о чём потом рассказывают всю жизнь. Мы с Юрой поехали в центр. Мать запретила, поэтому я сказал, что иду к нему делать физику. Юра своей матери сказал то же самое. Так два честных домашних мальчика получили общее разрешение, которого никто не давал.

Издалека дым казался белым. Я запомнил людей, стоявших на цыпочках, женщину в берете, которая плакала и ругалась, мальчишку с фотоаппаратом. Рядом продавали сигареты. Этот человек удивил меня больше всего: вокруг случалась история, а он пересчитывал сдачу. Впоследствии я встречал таких людей часто. Потом стал одним из них.

Юра захотел вернуться. Я обвинил его в трусости. Он спросил, что именно мы собираемся здесь делать. Я не знал. Смотреть. Смотреть было важно: если ты видел, то имеешь право говорить. Мы ещё не понимали, что увидеть и понять — разные приобретения.

Домой я пришёл поздно. Мать дала мне пощёчину — первую и последнюю. Отец стоял в дверях кухни. Я ждал, что он вмешается, но он только забрал у меня куртку и повесил на крючок. Ночью в комнате пахло дымом, хотя я не был близко к огню. Этот запах мог быть придуман памятью. Некоторые подробности я помню слишком хорошо, чтобы безоговорочно им доверять.

Через год отцовский цех начал останавливаться. Зарплату выдавали кусками. Отец приносил домой ведомости, в которых цифры выглядели прилично, но купить на них было нечего. Мать стала брать ночные дежурства. На кухне появился толстый конверт с надписью «квартира». Денег в нём становилось меньше, хотя мы никуда не переезжали.

По воскресеньям отец торговал возле рынка. Он стоял за раскладным столом с инструментами, частью своими, частью взятыми на продажу. Увидев меня, сразу выпрямился и стал громко объяснять какому-то покупателю разницу между двумя свёрлами. Я притворился, что проходил случайно. Нам обоим было легче поддерживать эту ложь, чем признать, что я принёс ему чай.

К столу подошли двое. Один был совсем молодой, с перстнем на пальце. Он не повышал голоса. Отец вынул деньги и положил под пачку сигарет. Молодой забрал их, даже не пересчитав. Я спросил, за что. Отец ответил: за место. Но место, я знал, он уже оплатил женщине в вагончике.

— Это другое место, — сказал он.

Мне понравилась точность этой фразы. Физически ты стоишь на одном квадрате асфальта. Но на нём одновременно существуют несколько порядков, и каждый присылает своего сборщика. Позже у меня будет кабинет с видом на город, а «другое место» никуда не исчезнет. Его только перестанут называть вслух.

Я хотел ударить молодого. Не потому, что был храбр. Просто ещё не знал цены удара. Отец сжал мой локоть так, что вечером остались следы пальцев.

— Смотри в сторону, — сказал он.

Я посмотрел. И увидел мужчину у чёрной машины. Он наблюдал за нашими сборщиками с выражением скучающего хозяина. Короткая стрижка, светлое пальто, маленькая спортивная сумка в руке. Ничего выдающегося. Позднее я узнал, что его звали Аркадий Громов. В тот день я решил, что хочу быть похожим именно на него. На человека, которому не надо ни бить, ни терпеть.

В школе нас попросили написать сочинение о будущем. Я написал, что стану юристом и буду защищать людей. Учительница прочитала работу вслух. Когда дошла до слов «равенство

перед законом», Юра посмотрел на меня. Я отмахнулся: чего привязался, нормальное сочинение. Он не привязался. Просто иногда его лицо мешало мне верить собственным словам.

Юра хотел строить мосты. Не метафорические, а настоящие: с расчётами нагрузки, опорами, швами. Он говорил, что хороший мост не интересуется фамилией человека, который по нему идёт. Я смеялся. Мне казалось, он заранее выбирает профессию, в которой другие будут распоряжаться им.

Мы поступили в разные институты. Мой был платным. Отец занял деньги и стал пить чаще. В день, когда я получил студенческий, он вынул из шкафа пиджак, надел и долго смотрел на меня, будто мы оба устроились на новую работу.

— Только не будь дураком, — сказал он.

Он мог бы сказать: будь порядочным. Но знал, чего стоит порядочность на нашем рынке, и не пожелал сыну повторить свою жизнь. Я долго считал это благословением. Теперь думаю, что отец просто боялся. А я сделал из его страха систему взглядов, в которой очень удобно было взрослеть.

5. Человек с папкой

В девятнадцать я устроился курьером в небольшую юридическую контору. Она занимала три комнаты возле Павелецкого вокзала. В коридоре стоял фикус с пыльными листьями, секретарь грела обед на переносной плитке, а директор любил произносить слово «структура». Структура была везде: у клиента, у партнёров, у людей, которым следовало позвонить перед подачей документов.

Я возил папки. Синие, серые, однажды красную с тесёмками. Содержимое читали без меня. Зато я видел лица до открытия папки и после. Иногда они менялись так заметно, что мне хотелось заглянуть внутрь. Не из любопытства к чужой жизни. Я хотел понять механизм: каким образом лист бумаги заставляет хозяина большого кабинета вставать из-за стола.

Директор однажды спросил, умею ли я молчать. Я ответил: умею. Он засмеялся.

— Уметь — это когда есть что рассказать.

В пятницу он отправил меня к человеку на Пречистенке. Не в учреждение, в квартиру. Дверь открыла пожилая женщина с покрашенными губами. Попросила снять обувь. Я стоял в чужих тапочках посреди прихожей и держал папку, от которой зависело что-то гораздо более значительное, чем мой месячный заработок. Из комнаты доносился телевизор.

Мужчина появился в рубашке с расстёгнутым воротом. Взял документы, пролистал, позвонил кому-то и сказал: вопрос понятен. Я запомнил именно это. Он не сказал, что вопрос законен или справедлив. Понятен. В его голосе была усталость человека, который занят неприятной, но вполне привычной домашней работой.

Пока он разговаривал, я увидел фотографию на комоде: мужчина, молодая женщина и мальчик в панамке. У него была семья. Это почему-то удивило меня. Я представлял людей, решающих чужие судьбы, существами без кухни и детских рисунков. Реальность оказалась сложнее и хуже. Они тоже покупали своим детям мороженое.

Вернувшись, я спросил директора, что мы сделали.

— Помогли людям.

— Каким?

Он поднял глаза.

— Нашим.

Вскоре мне разрешили готовить простые документы. Я научился писать так, чтобы одно и то же действие выглядело то просьбой, то предупреждением. Письма начинались словами об уважении и заканчивались последствиями. Меня особенно увлекала возможность угрожать без единой грубой фразы. Позднее этим языком будет написана половина моей жизни.

В конторе появился Игорь Самойлов. Он был на семь лет старше меня, носил недорогие костюмы и никогда не торопился отвечать. Когда остальные спорили, он пил воду. Когда соглашались, задавал один дополнительный вопрос. После этого согласие часто исчезало. Директор называл его сложным, но принимал без записи.

Самойлов предложил мне подработку: помочь людям с обращениями по поводу расселения старого дома. Я согласился. В первый день мы сидели на кухне у женщины с больными ногами. Она принесла все свои бумаги в пакете из-под постельного белья. Игорь перебирал их бережно, не перебивал. Я думал, что впервые вижу настоящее уважение к человеку.

На лестнице он спросил, что я заметил.

— У неё нет другого жилья.

— Ещё?

Я пожал плечами.

— Она одна. Родственники далеко. Дом ей важнее денег.

Я принял это за сочувствие. Позднее выяснилось, что он составлял не список нужд, а карту сопротивления. Кто согласится сразу, кто будет судиться, кому надо предложить больше, а кого можно утомить. Мы не выгоняли людей собственноручно. Мы помогали описать их так, чтобы ими было удобнее управлять.

Через месяц та женщина позвонила мне домой. Я дал ей номер, уверенный, что поступаю благородно. Она сказала, что получила бумагу, которой не понимает, и что обещанная квартира оказалась другой. Я пообещал разобраться. Самойлов объяснил, что условия изменились, а старые обещания не были обязательствами.

— Не привязывайся к каждому разговору, Паш. Иначе работать не сможешь.

Я перестал брать трубку. Мать спросила, почему какая-то женщина всё время ищет меня. Я сказал: сумасшедшая клиентка. Мать больше не спрашивала, но записала номер на обороте квитанции. Этот номер я увидел через много лет, разбирая её бумаги. Она позвонила той женщине сама. Я узнал об этом уже после того, как не мог ни оправдаться перед матерью, ни попросить её не вмешиваться.

Первую премию я потратил на зимнее пальто для неё. Принёс большую коробку. Мать долго рассматривала ткань, потом примерила перед зеркалом в прихожей. Пальто ей шло. Я почувствовал облегчение, почти счастье. Чужой голос в телефонной трубке затих. Я нашёл способ превращать неприятные воспоминания в хорошие подарки.

Часть 2. Цена входа

6. Первый конверт

Первый конверт мне передали не в машине и не в тёмном ресторане. Это случилось в столовой, где пахло капустой. На подносе лежали два куска хлеба, котлета и стакан компота. Мужчина напротив подвинул ко мне папку, а под ней оказался конверт. Я успел заметить жирное пятно на его манжете и подумал, что у человека с такими деньгами могла бы быть чистая рубашка.

Мне было двадцать шесть. Я работал помощником районного политика, которого здесь назову Виктором Михайловичем Остриным. Он не был знаменит. Его узнавали продавщицы, директора школ и мужчины, занимавшие лучшие места на местном рынке. Остальные путали его с председателем соседнего дома, что Острина раздражало сильнее любой критики.

Я готовил ответы на обращения, ездил на встречи, приносил папки. Всё, как раньше, но на папках появился герб. Мужчине в столовой требовалось, чтобы его спор о помещении перестали откладывать. Он считал, что я могу устроить разговор. Я действительно мог. Но не мог решить сам вопрос и сказал об этом заранее.

— Мне и нужен разговор, — ответил он. — Дальше разберёмся.

Я не взял конверт сразу. Мы доели. Он ушёл первым, а я ещё несколько минут сидел, удерживая ладонью папку. В голове перебирал варианты: вернуть, оставить, догнать. Столовая пустела. Женщина с тележкой попросила поднять поднос. Я поднял его вместе с папкой и конвертом. Так всё и произошло. Без торжественного решения стать другим человеком.

В туалете я открыл конверт. Денег было больше, чем моя зарплата за два месяца. Я пересчитал их дважды, вымыл руки и зачем-то проверил, не осталось ли на лице выражения, по которому всё видно.

Самойлов узнал в тот же вечер. Я рассказал ему сам, представив дело как неприятный случай. Он спросил, обещал ли я результат. Нет. Угрожал ли кому-нибудь. Нет. Взял ли за собственное действие. Вроде бы да.

— Тогда чего ты от меня хочешь? — спросил он.

Прощения, наверное. Или определения, которое сделает происходящее безопасным. Игорь дал мне определение: вознаграждение за время. Слово «взятка» он не произнёс. Мы оба знали его, но не нуждались в лишнем участнике разговора.

Встречу я устроил. После неё вопрос быстро сдвинулся, хотя я не знаю, какие ещё конверты потребовались. Этой частью мне было удобно не интересоваться. Мужчина позвонил и поблагодарил. Я отвечал сухо, словно его благодарность оскорбляла мою профессиональную честь.

Деньги лежали дома под стопкой университетских конспектов. Каждое утро я проверял, на месте ли они. Через неделю у отца начались обследования. Мы ждали запись, переносили даты, снова ждали. Я вспомнил человека в кожаном пальто у маминого окошка. Позвонил знакомому, оплатил приём и впервые сам провёл отца мимо очереди.

Он шёл за мной, немного сутулясь. Врач поднялся навстречу. В кабинете было тихо, чисто, на столе стояла настоящая орхидея. После осмотра отец спросил, сколько это стоит. Я сказал: ничего, знакомые. Он кивнул с такой гордостью, что мне стало почти больно.

Мы вышли на улицу. Отец закурил, хотя врач только что запретил.

— Вот теперь я спокоен, — сказал он.

Я понял: за меня. Он увидел, что сын научился жить. Мы стояли у клиники, и я ощущал себя хорошим человеком. Деньги уже не были деньгами из конверта. Они превратились в ана-

лизы, внимательное отношение, возможность не ждать. Я нашёл им правильное назначение, и назначение словно отменило происхождение.

Через несколько дней в приёмную пришёл другой участник того спора о помещении. Пожилой фотограф, арендовавший там мастерскую. Я узнал адрес и попросил секретаря принести чай. Он принёс договор, старые квитанции, снимок своей вывески. Объяснял, что его предупреждали об одном, а теперь требуют другого. Я слушал и смотрел на его пальцы, испачканные чем-то тёмным возле ногтей.

— Вы же помогаете предпринимателям, — сказал он.

— В рамках полномочий.

Я произнёс это впервые с настоящим удовольствием. Фраза закрыла дверь, не потребовав от меня захлопнуть её перед человеком. Мы приняли обращение, зарегистрировали, отправили по принадлежности. Через месяц он пришёл снова. Через два перестал.

Острин однажды заметил, что я хорошо работаю с трудными посетителями. Я попросил объяснить, что он имеет в виду.

— После тебя не шумят.

В тот вечер я купил себе новый костюм. Продавец сказал, что плечи сидят идеально. Я посмотрел в зеркало: всё действительно сидело на месте. Только когда снял старую куртку, из кармана выпал талон отцовской клиники. Я поднял его, аккуратно сложил и убрал. Он ещё долго служил мне внутренней квитанцией о том, что деньги потрачены правильно.

7. Комната на двоих

С Леной я познакомился на дне рождения Юры. Она пришла с его институтской знакомой и сразу попросила убрать вазу с края стола. Юра сказал, что это профессиональное: Лена училась на архитектора и не переносила предметов, расположенных так, будто их никто не собирался удерживать в мире.

Она была младше меня на два года. Носила короткую стрижку, смеялась редко, зато всем лицом. На кухне спорили о деньгах. Кто-то сказал, что москвичам повезло родиться в правильном месте. Лена ответила, что место тоже надо как-то поддерживать в состоянии, пригодном для жизни. Я пошутил, что этим занимается власть. Она посмотрела на меня:

— А я думала, дворники.

Мы ушли вместе. Я предложил такси, она захотела пройтись. Был май, на тротуарах лежали влажные лепестки. Мы говорили о домах, которые ей нравились, и я впервые заметил, сколько в городе дверей, на которые до этого не смотрел. Лена могла остановиться перед неприметным фасадом и объяснить, почему окно чуть сдвинуто относительно другого. Она разговаривала со мной как с человеком, способным понять. Это было сильнее кокетства.

На втором свидании я привёл её в ресторан, который считал дорогим. Она долго читала меню, потом заказала суп.

— Не любишь мясо?

— Люблю. Но я пришла с тобой разговаривать. Если ты сейчас потратишь ползарплаты, придётся делать вид, что вечер был выдающимся.

Я рассмеялся. Она тоже. Мне понравилась её независимость, пока она не стала мешать мне. Тогда я переименовал её в упрямство.

Мы сняли квартиру на юго-востоке. В ванной протекал кран. Лена пыталась уговорить хозяйку заменить его, я вызвал мастера и заплатил сам. Она спросила, почему я не предупредил. Я сказал: какая разница, всё работает. Мы впервые поссорились из-за вещи, которая объективно стала лучше.

— Ты решил за нас двоих, — объясняла она.

— Я решил проблему.

Мне казалось, она придирается к способу, не ценя результата. Позднее этим же аргументом я оправдывал всё, от покупки дачи до давления на людей, живших на нужной нам земле. У Лены была неприятная привычка спрашивать, кого именно включают в слово «нам».

Я рассказал ей о своей работе, но не о конверте. Сказал, что платят мало, зато можно быть полезным. Она помогала мне составлять вопросы по благоустройству дворов. На кухне мы разворачивали схемы, сдвигали тарелки и спорили, где нужны лавочки, а где нормальный проход для коляски. В эти вечера я действительно хотел что-то изменить. Было бы удобно объявить все мои добрые намерения ложью. Но они существовали рядом с другими намерениями и никогда не выигрывали спор автоматически.

Мы поженились осенью. На свадьбе отец выпил лишнего и произнёс длинную речь о том, как трудно было меня поднять. Мать пыталась остановить его взглядом. Я злился: Ленины родители слушали, а он всё говорил о долгах, сменах и старых ботинках. Я уже хотел иметь биографию, в которой нужда выглядела благородно и занимала не больше трёх минут.

После свадьбы Лена нашла меня на лестнице ресторана.

— Ты его стыдишься? — спросила она.

— Он пьяный.

— Это не ответ.

Я попросил не портить праздник. Она села рядом, подняла подол платья, чтобы не испачкать, и сказала, что праздник уже испорчен, если на нём кто-то должен стыдиться своей жизни.

Я тогда обнял её. Не потому, что согласился. Потому, что она плакала и я хотел прекратить разговор.

Наши первые годы были хорошими. Я имею право это написать, даже если позднее всё разрушил. Мы ездили электричкой в Подмосковье, покупали дешёвый сыр и читали в постели. Лена засыпала, положив книгу на грудь. Я снимал её очки, выключал свет и иногда долго лежал рядом, не чувствуя никакого недостатка.

Потом появился страх потерять то, чего у меня ещё не было. Большую квартиру, машину, возможность отправить будущего ребёнка учиться куда угодно. Я называл это ответственностью. Лена говорила, что мы уже живём, а я всё время готовлюсь начать.

Когда родилась Вера, мне было тридцать. Я смотрел на её маленькое лицо и думал, что теперь обязан стать неуязвимым. В роддоме пахло мылом, на окне стоял пластиковый цветок. Лена устало улыбалась. Она попросила меня взять дочь осторожнее, поддержать голову.

Я держал ребёнка, а в кармане вибрировал телефон. Звонил Самойлов. На секунду я подумал, что могу не ответить. Такая возможность действительно существовала. Я даже сделал движение, чтобы выключить звук. Потом передал Веру жене и вышел в коридор.

8. Рынок

В две тысячи пятом Аркадий Громов пригласил меня на завтрак. Я ожидал ресторан, но водитель привёз к двухэтажному дому за городом. На крыльце лежала собака, старая и тяжёлая. Она подняла голову, посмотрела без интереса и снова уснула. Внутри пахло кофе и свежей краской. За столом сидел тот самый мужчина, которого я когда-то видел у чёрной машины.

— Сергей как? — спросил он.

Мне понадобилась секунда, чтобы понять: отец.

Громов знал мою фамилию ещё тогда, на рынке. Возможно, знал всех. Возможно, перед встречей ему просто принесли справку. Я предпочёл первый вариант. Он делал нас давними знакомыми, а моё появление здесь — почти закономерным.

Громов накладывал себе творог. Сахар не добавлял. На запястье были дешёвые электронные часы. Он мог позволить себе вещи, которые выглядели дешёвыми: никто уже не путал это с бедностью.

— Игорь говорит, ты умеешь разговаривать.

— Смотря с кем.

— Вот это правильно. Со всеми одинаково нельзя.

Он предложил мне участвовать в общественном совете, который должен был «успокоить ситуацию» вокруг перестройки рынка. Торговцев собирались переселить в новое здание. Старые ряды мешали проекту Глеба Шатрова, застройщика с мягкими руками и привычкой обращаться к людям по имени уже через минуту после знакомства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.